

Анатолий Житницкий

О весеннем человеке

Я помню его хорошо...

Хотя я не уверен, что способен вспомнить его так, чтобы не знавшие и не видевшие его в жизни узнали и восприняли его как живого. Нет, сделать этого я не смогу. Он был старше меня на целые пятнадцать лет. Да, это сейчас для меня какие-то пятнадцать лет чепуха, а тогда... Потом он был фронтовиком, кандидатом наук, моим педагогом и еще моим старшим другом. А кем был я? Студентом в двадцать лет. Своего друга я уважал и побаивался.

Но его уже давно нет. Ровно половину жизни я прожил без него – *и с ним*. Нет, я ничего не путаю, именно так – *без него и с ним*

. Он никуда не уходил из моей жизни. Ведь сохранилось несколько листочков, исписанных его рукой, его фотографии; его голос, его облик сохранились в памяти. И еще: я помню его уроки. Просто Лев Яковлевич Лившиц, мой учитель – это часть моей жизни, часть меня самого. И пусть никому в голову не придет упрекать меня в злоупотреблении высоким стилем – я говорю так, как чувствую, и то, что думаю.

Каждый из авторов этого сборника, наверное, увидит и опишет Льва Яковлевича чуть-чуть по-своему. И я благодарен судьбе за то, что получил возможность положить несколько мазков, добавить несколько штрихов к его портрету.

...Снег в этот день неожиданно стал серым, пористым, весенним. И солнце светило как-то по-особому ярко, слепяще, обжигающе, – по-весеннему. Весна была уже где-то рядом, недалеко – и все это как-то не вязалось со слезами, венками, нелепо торчащей из сугроба в небо крышкой гроба. Официальное лицо – проректор университета, и впрямь очень расстроенный происходящим, держась за корявый черный ствол кладбищенского дерева, что-то говорил о несправедливости судьбы, забирающей такого человека

накануне весны. А я смотрел на почему-то неподвижное лицо моего учителя, такое знакомое и дорогое лицо – и ничего не понимал. Почему так неласкова и сурова была жизнь с этим человеком?

И сейчас, по прошествии уже более тридцати лет со дня его преждевременной смерти, я пытаюсь вспомнить и никак не могу вспомнить то неподвижное лицо. Но зато у меня всегда перед глазами живое, доброе лицо Льва Яковлевича, ироническая его улыбка, чуть набухшие "мешки" под глазами, непокорные вихры, уже чуть тронутые сединой... Вот это я помню.

Мы прощались с ним накануне весны. Я вообще думаю, что он был весенним человеком во всем – в большом и в малом, в горе и в радости, в личном и в общем. Поэтому-то и расскажу о том, что хорошо помню. К сожалению, помню далеко не все, гораздо меньше, чем хотелось бы, да и помню-то как-то сумбурно.

Но я все же попробую кое-что вспомнить, может быть, в воспоминаниях и оживет прошлое...

Помню теплый майский день, битком набитый кипенью цветущей сирени. Громадный серый дом в форме буквы "П", стоящий на окраине большого сквера, в котором безостановочно льется прозрачная и толстая струя воды, беззвучно падающая в бетонное корытце... Это позаботился о харьковчанах бывший хозяин города и области, секретарь обкома В.М. Чураев. И Лев Яковлевич, живущий в этом самом П-доме по соседству со "стеклянной струей", обычно говорил, что живет возле "бахчичураевского фонтана". Тогда такие шутки были отнюдь не безобидными, и Лев Яковлевич об этом знал более чем хорошо. Но он, только лишь пару лет назад вернувшийся из "мест не столь отдаленных", попавший в беду именно в царствование того самого Чураева и при его непосредственном участии, говорил именно так – и голубые глаза его смеялись. В чем-в чем, а в чувстве юмора ему отказать было нельзя.

Лев Яковлевич сидит на каменном барьере высокого крыльца своего подъезда и играет в шахматы. Его постоянный партнер – молодой, похожий на близорукого мальчишку, композитор Марк Карминский. Несколько его песен я уже слышал по радио и поэтому не могу говорить ему "ты" – величаю на "вы" и по имени-отчеству. А Лев Яковлевич смеется, хитро поглядывая на меня, худого и желторотого, переминающегося с ноги на ногу возле крыльца, – сесть рядом с самым настоящим композитором у меня недостает

смелости. А рядом с Львом Яковлевичем я уже могу позволить себе сесть, я уже к нему привык. Мы изредка посиживаем с ним на этом крыльце и беседуем о том, что мне кажется подобающим обсуждать с таким ужасно старым человеком, как Лев Яковлевич...

Ему еще не было сорока. Он жил на высоком первом этаже, вернее – на полуторном. И я часто подбегал к распахнутому в сквер окну его квартиры и звал его. Он выглядывал из окошка:

– Заходи!

Я мотал головой:

– Не-е...

Мне было неудобно, мне казалось, что я стесню его семью: милую маму Цилю Карловну, очаровательную его жену Оленьку, ершистую дочку Татьяну и ма-ленького Яшку. Мне казалось, что я там лишний, что меня и так бывает там слишком много...

Мы сиделись на крыльце – и говорили, говорили, говорили. Я задавал вопросы, он отвечал. Это были мои "университеты".

Я помню...

Он был моим преподавателем на филфаке университета. Уже и не припомню, что именно он нам читал – какой-то литературоведческий спецкурс, наименование которого

не удержалось в памяти. А еще он был куратором моего курса с милейшим доцентом М.В. Черняковым. Тем читателям, которые помоложе, надо, наверное, пояснить эту идеологическую заковыку, это отжившее понятие – куратор учебной группы курса... Одним словом этот термин не объяснишь, потому что куратор – это воспитатель и нянька, классный надзиратель и толкователь идеологических истин.

А еще – в случае чего – и мальчик для битья, тот, кто виноват, не важно в чем, но виноват. Но мы все, всем курсом, все без малого тридцать девочек и полдесятка парней (характерная для филфака пропорция!) самым нежным образом любили нашего Лёвушку. И, конечно, старались не "подставлять".

В обязанности куратора входило и проведение еженедельного "политчаса", говоря иначе – воспитательной долбежки, присутствие на наших собраниях и вечерах отдыха, наблюдение за академуспеваемостью, и мало ли что еще из области прикладной педагогики. Но я не припомню ни одного случая, когда бы Лев Яковлевич злоупотребил своей властью или бы обрушил на наши неокрепшие души вульгарную нотацию. В души он вообще старался не лезть, а воспитывал исключительно логикой и добротой. А еще иронией.

Вспоминается мне вот что: как и в любом другом советском учреждении, на филфаке выпускалась обязательная стенная газета. Название ее не припомню, но, скорее всего, это было что-то ортодоксально-фанфарное – "За советскую филологию!" или же что-либо в этом духе. Газета была как газета: передовица, материалы к очередной "красной дате", информации о факультетской жизни, партийно-комсомольские новости и... стихи (!). Газета была хоть и рукотворная, но все же филологическая, а, как у нас говаривали, "каждая собака с филфака стихи сочиняет...".

Партбюро такую вольность, сцепив зубы, терпело, порою обрушивая на свежеиспеченную лирику чугунную тяжесть цензурных запретов. Газета, тем не менее, на факультете пользовалась популярностью. В это трудно поверить сегодня, в пору всеобщего отрицания и осмеяния, но ее ждали, а если точно, то ждали, скорее, многометровое юмористическое приложение к основной стенгазете, блистательный фейерверк шуток, эпиграмм, карикатур и другой юмористической мелочевки под удивительно точным названием, построенном на игре слов – "ФилФАКТЫ". Я помню, как весело работали студенты над этим многометровым монстром, занимавшим порою полкоридора.

Меня, первокурсника, неизвестно за какие заслуги кооптировали в состав редколлегии стенной юморины. И вот в комнате студенческого общежития на Толкачевке, где я сижу среди старшекурсников-фронтовиков, создается этот шедевр. Юра Кислицын, почему-то лежа на столе, рисует смешные рожи, похожие на наших педагогов, Адольф Воловик беспрерывно острит, а остальные присутствуют. Я же, естественно, стараюсь изо всех сил, чтобы серьезные ребята в застиранных ковбойках и линялых гимнастерках приняли меня за своего, а сидящий в уголке комнаты на тщательно заправленной койке Лев Яковлевич весело поглядывает на меня и перемигивается со старшекурсниками – вот, мол, дает новобранец!.. Лёвушку, видимо, попросили приглядеть за ватагой неоперившихся юнцов, пробующих свои перья, чтобы, не дай Бог, они чего-нибудь такого-этакого не допустили... Вот Лев Яковлевич и осуществляет руководство – сидит и молчит.

А когда я, окончательно засуетившись, предложил поместить в газете только что сочиненную мной песню о студенческом общежитии, все недоуменно переглянулись. И строгий Коля Лисовой, заправив гимнастерку под ремень, грозно сказал:

– А ну-ка, покажи текст!..

Я протянул листок дрожащей рукой. Коля командирским голосом продекламировал:

У трамвайной остановки

Есть студенческий район,

Почему-то Толкачевкой

Был когда-то назван он.

Там гармонь поет упрямо,

Там гитары дребезжат,

Там конспекты и программы

Неоткрытые лежат.

Ах, картина нам ясна –

В общежитии весна,

Потому-то и лишились

Все студенты сна!..

Ну, и так далее в таком же элегантном духе. Старшекурсники, пряча улыбки, отвернулись, а Лев Яковлевич потрепал меня по плечу и тихо сказал:

– М-да-а... Ты знаешь, Толя, в Одессе, говорят, так может любой. Почти каждый. Но стесняется...

Гомерический хохот слышала, наверное, вся Толкачевка. А "ФилФАКТЫ" вышли в свет без моей песни. И вообще в дальнейшем я запретил себе выдавать "на гора" любые тексты "с пылу, с жару", да еще и круто замешанные на банальностях. И стараюсь блюсти это правило по сей день. И когда что-либо из содеянного мною начинает уж очень мне нравиться, я вспоминаю голубые глаза моего учителя, часто помаргивающие его золотые ресницы и его ироничный голос. И понимаю сразу же цену своего творения:

конечно же, в Одессе так может каждый, но стесняется... И мне бы не мешало.

Я помню, что диплом я писал литературоведческий. И писал я его совсем не потому, что меня неудержимо манили дебри литературоведения, что я не мог без него жить, а, скорее, потому, чтобы поменьше общаться с языкознанием. Ну не расположен я был к языковым премудростям. Выбрал тему диплома по душе: "Литературная пародия в творчестве В.В. Маяковского". И Лев Яковлевич согласился руководить моим научным поиском. Как я потом об этом жалел! Жалел, конечно, молча. Ведь каждую фразу пришлось, что называется, многократно "вылизывать", править до изнеможения. И когда вечером накануне защиты моего многострадального диплома я снова и снова вынужден был что-то править – тут уж я не выдержал и взмолился:

– Ну, Лев Яковлевич, ну зачем? Ведь вы же сами прекрасно знаете, что кроме вас никто сюда не заглянет! Да и вы уже не будете смотреть, уже некогда. Так не такая фраза – подумаешь!

И тут Лев Яковлевич, поглядев на меня с удивлением и жалостью, как на безнадежно больного человека, как-то неожиданно резко сказал мне – больше он никогда не говорил с такой интонацией:

– Знаешь что, мой милый? Я тебе скажу, а ты запомни: если ты делаешь дело, то делай его так, чтобы не стыдно было ставить свое имя. Понял?

И лицо у него сразу стало незнакомое, колючее, словно я сотворил что-то на редкость непотребное или сморозил несусветную глупость. Теперь-то я понимаю, как я тогда выглядел. А тогда... Тогда я жутко обиделся и долго пыхтел, холил свою обиду – молодой был, глупый.

И теперь я часто говорю своим ученикам примерно то же самое. Кто молча глотает, кто "надувается", а кто и принимает к сведению. И последние заставляют думать о том, что молодость и глупость совсем не обязательно тесно связаны – это у кого как...

Помню, был холодный, совсем не весенний день – декабрь, десять дней до нового года. На балконах кое-где уже стояли связанные елки. С утра сильно мела поземка... Вроде бы совсем недавно было дело, а вот уже без малого сорок лет миновало. М-да...

Я, свежее испеченный папаша, выскакиваю из роддома и несусь куда? Конечно же, ко Льву Яковлевичу – ведь он очень близкий мне человек в прямом и переносном смысле.

В прямом смысле мой учитель в данный момент близок мне потому, что роддом находится на перекрестке улиц Совнаркомовской и Чернышевской, а Лев Яковлевич живет на пересечении Чернышевской и Сер-дюковского переуллка, ныне улицы Скрипника. Если эти ориентиры учесть, то становится понятно, что бежать мне надо было совсем недалеко – один квартал, состоящий с одной стороны из одного-единственного дома в форме буквы "П"...

Я влетаю по лестнице на высокий первый этаж и звоню, звоню, звоню – дверь открывает мама Льва Яковлевича, Циля Карловна. Она несколько удивлена моей стремительностью. А я ору, пугая маленького Яшку, который ползает с автомобильчиком под столом.

– Сын! Сы-ын! – ору я.

Я никогда не видел Льва Яковлевича таким растерянным. Ведь я – его ученик, у меня родился сын, значит ему он вроде бы как внук. И что в таких случаях полагается делать почти что сорокалетнему деду, что говорить? Из другой комнаты прибежала Ольга Давидовна, прибежала Танюшка – и все так энергично навалились на меня, тиская и обнимая, как будто это я рожал... Зацеловали. Мы даже, кажется, выпили по рюмке на радостях, и Циля Карловна, глядя на своего Лёвушку восторженными глазами, сказала:

– Толя! Сын – это здорово!

И она была права. Она знала, что говорила, – ведь у нее был такой сын, такой сын!

Мои пестрые воспоминания не носят сколько-нибудь систематического характера, я бы сказал, что это, скорее всего, "лоскутное одеяло" памяти, которая, увы, несовершенна. Что-то забылось, что-то отразилось в кривом зеркале времени.

И я вспоминаю то, что было непосредственно связано с моей жизнью, ибо в ней трудно найти человека, который бы сделал для меня столько, сколько сделал он – Лев Яковлевич.

Он был дружен и с моим отцом, они вместе работали в университете, правда, на разных факультетах, но при встречах долго и доброжелательно беседовали. Может быть, поэтому я и воспринимал своего учителя почти как отца. Мы дружили с ним по-настоящему, хотя я всегда (да и теперь тоже!) смотрел на него снизу вверх. Я просто пишу о том человеке, без которого моя жизнь была бы, наверное, совсем другой. Я не знаю какой, но другой. Ведь это он дал мне те реалии, которые отмечали время.

А время было нелегкое и достаточно странное, по эренбурговскому образу – оттепель. Лев Яковлевич Лившиц, уже не Жаданов, а просто Лившиц, вчерашний зэк, бывший "безродный космополит", заклеянный со всех партийных трибун Харькова, осуществлял по поручению факультетского партбюро идеологическое воспитание будущих филологов. Я сейчас уже не могу вспомнить дословно того, что он говорил и внушал нам, но точно помню, что не засорял нам мозги идеологическими штампами, не умел он их произносить.

Из его рук я получил многое: и совершенно сразившие меня рассказы абсолютно неведомого моему поколению Исаака Бабеля, и поразившие меня своей простотой и возвышенностью городские песни Булата Окуджавы, и прошедшую через десятилетия крепкую дружбу с моим сверстником, соседом Льва Яковлевича, Адоликом Шапиро, ставшим со временем одним из крупнейших театральных режиссеров... А сколько людей на моей памяти уже после смерти учителя буквально менялись в лице, порою делали невозможное, лишь узнавали, что и я знал его.

... Я хорошо помню август 1972 года: я примчался на харьковский железнодорожный вокзал, получив из Москвы телеграмму за подписью Г.Н. Мунблита, соавтора Е.П. Петрова послеильфовских времен. Я давно ныл письменно и устно всем своим московским знакомым, что не могу достать томик воспоминаний о Бабеле. И вдруг мунблитовская телеграмма: "Встречайте двадцать шестого поезд 169 вагон 9 пятое купе Антонину Николаевну Бабель получите книгу Мунблит". Я, конечно, знал, что Лев Яковлевич много и серьезно занимался творчеством Бабея, что скопил большой материал, что был хорошо знаком с Антониной Николаевной, которая безраздельно ему доверяла... И вот я стою с огромным букетом цветов и встречаю маленькую, хрупкую женщину с удивительно молодыми глазами – вдову писателя Антонину Николаевну Бабель-Пирожкову. Она протягивает мне драгоценную книжку воспоминаний о муже, и говорит о том, что этой дорогой ей книги могло бы и не быть, если бы не Лев Яковлевич... У меня хранится и одно-единственное письмо от Антонины Николаевны, в котором она тепло вспоминает о Льве Яковлевиче: "Зная, что я – инженер, по-моему, и Л.Я. не предполагал, что будут мои воспоминания, и сам ловил мои рассказы и кое-что пытался записать. Вот как раз воспоминания обоих Левиных получил Лев Яковлевич сам, остальные собрали я и Канторовичи-Мунблит...".

Я хорошо помню свою растерянность, когда уже после смерти Льва Яковлевича пришел как-то в этот дом, и Ольга Давидовна показала мне чемодан с бумагами:

– Все это о Бабеле. Надо бы продолжить... Толя, возьметесь за это?

Я испугался – и не взялся. Я не мог представить себе, что смогу продолжить дело, начатое Львом Яковлевичем, что у меня хватит на это сил и знаний. И я не могу простить себе своей трусости. Я не знаю даже – цел ли чемодан? Ведь прошло уже тридцать с лишним лет, умерли Циля Карловна и Ольга Давидовна, Таня и Яша уже давно живут в Израиле...

За несколько месяцев до его смерти я вручил Льву Яковлевичу свою первую пьесу, созданную по всем железобетонным шаблонам соцреализма. Боже, как он меня изругал! Точно, едко – и все в "яблочко". Сохранился в моих бумагах листок с его заметками по пьесе – рваные неровные строчки. Я до сих пор боюсь это читать – краснею, начинает биться сердце.

И всякий раз, проходя мимо его дома, я пристально смотрю на окна его бывшей квартиры – не мелькнет ли в окне вихрастый профиль? И знаю же, что нет, не мелькнет, а все равно смотрю. Поэтому и стараюсь ходить мимо как можно реже – больно.

Дома у меня хранится пачка его фотографий, сделанных одним из моих однокурсников – В.И. Черняком, – тоже, к сожалению, ныне покойным, на одном из курсовых вечеров. Моя жена, учившаяся вместе со мною и также нежно хранящая память о Льве Яковлевиче, положила конверт с фотографиями в коробку, где лежат изображения самых дорогих людей – родителей, детей, внуков.

Я счел своим долгом одну из своих книг, сборник литературных пародий "Пародистый Пегас", посвятить памяти Льва Яковлевича. Я не считаю это своей заслугой, я просто должен был так сделать – и все. Книга вышла давно, в 1969 году, когда государственный антисемитизм цвел махрово, а в государственном партийном издательстве вдруг выходит книжка с посвящением Л.Я. Лившицу. Сам не пойму, как мне удалось это "пробить". Но я этому рад – хоть что-то я сделал для него, хоть самую малость. А художник, оформлявший эту книжку, мой школьный товарищ Владимир Кравец, по моей просьбе сделал карандашный портрет Льва Яковлевича, который я подарил его семье. Недавно приезжавший в гости Яша сказал, что портрет сохранился.

... Хочу признаться в серьезном прегрешении: взял почитать чужую книжку – и не отдал. Взял ее за два дня до... Потом не стало хозяина, и я этим воспользовался. И если быть честным до конца, я не мог заставить себя выпустить из рук эту книгу. Почему? Да потому, что в конце пятидесятых именно Лев Яковлевич научил меня выговаривать незнакомое имя – Окуджава. И сидя в кабинете Льва Яковлевича, находившемся в уголке общей комнаты – гостиной, столовой и пр., возле чуда техники – магнитофона "Днепр", который был величиной с хороший чемодан, я удивлялся каким-то неожиданным темам, интонациям, никакому голосу и скромному гитарному аккомпанементу.

Но постепенно, вслушиваясь, вживаясь и запоминая эти песни, я сжился с ними – и эта самобытная мелодика и прекрасные стихи обволокли меня, затопили до макушки. Я певец, мягко говоря, слабый, но мои домашние, презрев мою немзыкальность, прислушивались с интересом:

– Вы слышите, грохочут сапоги!..

И трагедия Лёньки Королева, и лирика синего троллейбуса, и влюбленность дежурных по апрелю, и слезы у девочки, у которой шарик улетел, и проклятие подлой войне, из-за которой стали тихими наши двory, и мужская солидарность тех, кто не бродяги, не пропойцы, – весь этот "маленький оркестрик под управлением любви" не мог не захватить, не удивить, не влиться в душу.

А потом был вечер в тогдашнем храме харьковской интеллигенции – пышном и безвкусном зале Центральной лектория, где Лев Яковлевич представил меня художавому молодому человеку с тонкими усиками и курчавой шевелюрой

– Знакомься, Булат, это Толя, – сказал Лев Яковлевич, – он тоже пишет.

Господи, зачем он это сказал? Я пишу и Окуджава пишет, я и он – разве это сравнимо?

Я что-то лепетал, а потом, уже сидя в зале, я вслушивался в знакомые слова и мелодии – и не верил сам себе: ну, неужели, неужели вот этот человек все это и написал?

... Я робко попросил у Льва Яковлевича книгу стихов Булата Окуджавы "Веселый барабанщик", подаренную автором, с автографом.

– На пару дней, – попросил я. Отдавать книгу ему не хотелось, но он дал.

А через пару дней его не стало.

И вот эта книга лежит сейчас передо мной. Надпись на титульном листе гласит:

"Лёва, я тебя люблю.

Будь бдителен!.. "

11.11.64 г. Булат

Ах, Лев Яковлевич, Лев Яковлевич, предупреждал же Вас Булат Окуджава, просил быть бдительным, что же Вы...

Зачем же Вы так, всего через три месяца после этой надписи, в самом конце зимы, накануне весны вдруг ушли?!..

Книга эта уже тридцать лет со мною.

И я не могу ее вернуть, простите меня, Таня и Яша. Я брал ее у Вашего папы и могу вернуть только ему. Только...

И еще я помню вот что: долгие пятнадцать лет работал я после университета научным сотрудником Харьковского художественного музея, подавшись из литературоведения в искусствоведение. И, наверное, поэтому муза, жена и вдова Льва Яковлевича Ольга Давидовна своею волею определила меня в консультанты святого и ответственного дела – увековечения памяти Льва Яковлевича. Сейчас уже и не вспомню деталей, но тогда хлопот было много: я помогал создавать проект надгробия, его разработал хороший архитектор В. Ландкоф.

А пожелания Ольги Давидовны были такие: памятник Лёвушке должен быть простым и нестандартным – и впрямь, прост и нестандартен был этот человек! И еще: не должно быть никаких оград – он ведь и так четыре года жизни провел за оградой, за

решеткой... Поэтому одна плита была положена плашмя, а другая стала на ребро. И на этой второй плите – "утопленный" в камне барельеф: вихрастый круглолицый человек смотрит на нас. Откровенно говоря, портретное сходство невелико. Но я понимаю, что такой небольшой барельеф из крупнозернистого гранита не мог получиться иным: материал не располагает к точности. Но что-то знакомое в камне все же проступает.

А ниже тоже нестандартная надпись – "Лёва Лившиц". И даты...

Редко, увы, прихожу к нему помолчать, все больше четырнадцатого августа, в день рождения, редко прихожу...

Так и общаемся.

Кстати, в музей-то я попал тоже благодаря Льву Яковлевичу: он "сосватал". Так-то...

Я не мог присутствовать на вечере, посвященном тридцатилетию со дня его смерти – болел. Я ведь уже намного старше моего старшего друга, а возраст и болячки спуска не дают. Со слов друзей и однокашников, которые были там, я знаю, что зал Дома актера был забит, что желающих сказать доброе слово было больше чем достаточно, что вечер никак не могли окончить – все закономерно. Хотя, по нашим временам, есть и кое-что удивительное в этом событии: люди собрались, презрев суету сует нашего ненормального бытия, чтобы вспомнить хорошего человека, ушедшего из жизни уже тридцать лет тому назад. А его помнят, чтут – да, это дорогого стоит.

Вспоминаю о нем, а в памяти звучит его голос и возникает видимая внутренним зрением чуть-чуть сутулая фигура, голубые глаза, светлые вихры с проседью, рыжие ресницы – Лев Яковлевич.

Да будет благословенна твоя память, Учитель!

